

Я не критик, не литературовед — скорее, толмач, который пытается прозой передать впечатление от стихотворений, понять устройство, «правила и законы» поэтического пространства, сотворённого автором...

## Упо

Моя встреча и дружба с одним из замечательных современных поэтов, Яном Бруштейном, осуществилась благодаря Сети. Интернет — не просто «провода и компьютеры», это нынешняя «область культурного поля», в котором над грешною нашей Землёй, в эфире, парит мир, созданный творцами всех стран, слова на вавилонском гомоне наречий звучат в нём совместно — и тем превращают в единую речь...

Вот, Ян, вижу тебя в твоём Иваново, чуть грузного, но легко двигающегося, пританцовывающего под ритмы строк, настоящего поэта, у которого дыхание, движение и слово имеют одну цель — сделать «поэтическую вещь» как можно лучше.

Так гончар желает вылепить лучший кувшин, музыкант — сыграть, художник — передать замечательное в нём видение... Или вижу тебя у монитора: ты приближаешь или уменьшаешь страны, узнаёшь абрис границ, переменчивый, часто нарисованный кровью, пока не возникает «сапожок» Италии, не нынешней, а той, давней, где не в энциклопедиях — в мастерских скульпторов, кабинетах мыслителей и писателей рождается Возрождение.

Цветущие луга Тосканы ведут тебя к берегам Арно, и вот тыходишь в город. Ты бродишь целый день по средневековой многоцветной Флоренции, так уверенно, будто местный житель, — но разве не так, разве это не один из твоих городов?

А к вечеру идёшь обратно, только нет Арно, течёт иная, плавная река, со своим высоким берегом и низким — в лопухах... Мальчонка из нищих да его собака увязались за тобой... Ты берёшь мальчика за руку, показываешь на тихую русскую реку — она как время, текущее во все времена, и вы замираете вместе: «Нерль».

## На Нерли<sup>1</sup>

На покрытой заплатами старой байдарке,  
Мимо сосен, создавших готический строй,  
Мы текли сквозь туман, ненасытный и жаркий,  
Там, где заняты рыбы вечерней игрой.

В среднерусской воде растворялись посменно  
Все мои города, все мои времена,  
Их вмещала, не требуя тяжкую цену,  
Невеликая речка без меры и дна.

... Пусть ломало меня и по миру таскало,  
Но давно измельчали мои корабли,  
Только вижу: опять отразилась Тоскана  
В золотой предзакатной неспешной Нерли.

Погружу во Флоренцию руки по локоть...  
Промелькнула над крышами стайка плотвы...  
Мой попутчик наладился якать и окать  
И ругать испугавшие рыбу плоты.

Рыба шла на крючок неизбежно и сонно,  
И дрожащая леска звенела струной,  
И скользила байдарка, уже невесома,  
Между небом и городом, вместе со мной.

Это превосходное стихотворение. Архитектура текста уравновешенна, гармонична, строфы полны тайны... Я тебе не один раз говорил: «Тоскана на Нерли» — книга необыкновенная. Как и ты сам — редкостный автор. Ты решил, своим способом, сложную задачу — соединить самую современную поэтику и вынятность стихотворений для читателя.

В среднерусской воде растворялись посменно  
Все мои города, все мои времена,  
Их вмещала, не требуя тяжкую цену,  
Невеликая речка без меры и дна.

Именно последние слова, производящие на нас особенное впечатление, говорят о сложности мышления и образного ряда поэта. Река — вечный символ времени. Ты «пропускаешь» эту связку и пишешь правду истинную: время бесконечно и безмерно, в смысле того, что оно «вбирает в себя» весь мир.

.....

1. «На Нерли» — первое стихотворение книги «Тоскана на Нерли» (М., издательство «Летний сад», 2011).

Я не говорю уже о яркости образов последней строфы:

Погружу во Флоренцию руки по локоть...  
Промелькнула над крышами стайка плотвы...

И помолчу, пожалуй, задумавшись о странном зеркале вод, что отражает Россию Италией — в зеркале времён.

А времена и правда необычны. Мы классифицировали наш, написанный мною и моим соавтором, роман «Венецианец»<sup>2</sup>, роман о человеке, который берёт обет — идти с воротами родного города на плечах до Рима, как произведение «новой средневековой литературы». Так мы назвали свой способ письма.

И президент Флорентийского общества Пётр Баренбойм<sup>3</sup> говорит в послесловии к твоей книге о «флорентийской мечте» как созревшей мечте о Возрождении... Для того ты и «опускаешь по локоть руки во Флоренцию», чтобы дотронуться до камней «Золотой Италии», помечтать: Данте и Петрарка идут нашими берегами.

## Due

Реки и города — их много в твоих стихах. Реки — течение времени, города — определённая координата, как у Пруста... Она возникает постепенно и связана с нашей судьбой, родными, друзьями... И в реке — мы свободны и несвободны, нас несёт общим течением вод, и всё же мы сами выбираем стремнину или жмёмся к мелководью. А в городах, в замкнутости стен, творят божественно свободные Петрарка и Микеланджело.

Эти темы постоянны у тебя. И если учесть сказанное, то стихи, что кажутся непонятными, сложными, становятся прозрачными. В «Ныряющем с моста», например:

Ныряющий с моста бескрыл, печален, вечен.  
Взлетающий из вод — хитёр и серебрист.  
И встретятся ль они, когда остынет вечер,  
Когда забьётся день, как облетевший лист?

Мы легко видим суть сказанного: погружение в поток времени, «пленение однообразием», «общим движением людей» творец, художник может прервать, лишь взметнувшись над временем. Настанет ли день, когда мы прервём наше раздвоение — на «человека будничного потока» и «строителя миров», поднявшегося над «буднями своими»? Это близко к Тютчеву — о душе, парящей над толпой...

Но в истории России «река времени» была ещё и «рекой демонстрантов с портретами вождей у

стен Кремля», и «бесконечной чередой вагонов с арестантами». И как долго потом висел «занавес»... Мы могли поехать и пройти по Флоренции? Даже смешно... А потом не выбрались мы...

В моих бесцензурных по-прежнему снах  
Я камни топтал и Мадрида, и Ниццы...  
Но чаще всего, представляете, снится  
Ночная Флоренция с криками птах.

И невероятная строфа дальше:

Здесь воздух так вкусен, бездымен и чист,  
Я вижу, как время свивается в узел  
И как пролетают усталые музы  
К последним поэтам, не спящим в ночи.

Здесь, прежде всего, муза с узлом, узелком, но это не только узелок Ахматовой, идущей с передачей к тюрьме (её слова в эпитафии этого стихотворения «Мечты о Тоскане»). Это ещё и переплетение «нитей времён», узел тяжкий, «наполненный страданиями, несправедливостью по отношению к лучшим сыновьям отчизны». Именно — тяжкий:

«Ты ль Данту диктовала  
Страницы Ада?» Отвечает: «Я»...

Дорогами изгнанника идёт Данте, изгнанный из Флоренции, и позже — Рабле, играет в прятки с кострами, Свифт делает бастионом Ирландию, неприступной крепостью собор Святого Патрика. Что, стены крепки? Эти стены из бумаги. Но на бумаге — «Письма суконщика».

Среди зла и тьмы возникает свет появления поэта. И это всегда Возрождение, снова и снова сплетаются в узел «нити строк» античности и Библии, современности и средневековья, Востока и Запада... Ян, как у тебя точно написано: «К последним поэтам, не спящим в ночи»... Это, разумеется, сознательный отсыл к Пастернаку, хрестоматийному:

Ты — вечности заложник  
У времени в плену.

Но что же в начале этого стихотворения?

Над спящим миром лётчик  
Уходит в облака.

Река времени несёт безвольных по течению, чуть ли не спящих, чуть ли не мёртвых, а лётчик — он «хитёр и серебрист» и поднялся над рекой и городами.

Что же за реки в твоём мире, Ян? Арно — первая река книги (стихотворение «Флоренция»):

Мечта. Флоренция. Доньяне  
Я помню, как, невыездные,  
Преградам века вопреки,  
Закрыв глаза, вовсю бродили,  
Листая улицы и стили,  
Вдоль Арно — больше чем реки...

2. «Венецианец» — роман Лейбгора (В. Лейбович, М. Горевич).

3. Пётр Баренбойм — президент Флорентийского общества «Флоренция в России», автор послесловия к книге «Тоскана на Нерли», его стараниями книга была издана.

И Нерль. И река стихотворения «Миф о красных деревьях», твоего известнейшего стихотворения, оно и дало название твоей первой книге:

К реке спустились красные деревья,  
К воде припали красные деревья...  
Навстречу вышла целая деревня  
И предьявила древние права:  
На то они на свете—дровосеки,  
Зимой хотят тепла, и скот, и семья,  
И вот срубили красные деревья  
На красные прекрасные дрова.

И «Река Амур, 1968 год»:

Наутро после рукопашной  
Не мог я даже воду пить.  
О Боже, как же было страшно!  
Но невозможно отступить.

Я не запомню эти лица.  
Кипит вода в большой реке.  
Но, знаю, вечно будет сниться  
Кровь на штыке, кровь на штыке...

Остров на Амуре—он был у тебя наяву, Ян. Нева—досталась твоим близким... И твоему прадеду—река его плотов («Мой прадед»):

Мой прадед, плотогон и костолом,  
Не вышедший своей еврейской мордой,  
По жизни пёр, бродяга, напролом  
И пил лишь на свои, поскольку гордый.  
Когда он через Финский гнал плоты,  
Когда ломал штормящую Онегу,  
Так матом гнул—сводило животы  
У скандинавов, что молились снегу...

Много рек в твоём мире. Вопреки географии, они впадают в Нерль, и вот эта вода на глазах превращается в воды Арно. И мы смотрим на обратный её бег. Все наши времена—из источника культуры Европы, иначе говоря—Ренессанса.

Время возвращается к своему началу, ключу в горнем мире величайших, и, глотнув чистого нектара искусства, вновь движется вперёд, с новыми силами. И ты, Ян, ведёшь очередную строку...

## Трe

Стихотворение «Флорентийского цикла» с названием «Флоренция» заканчивается у тебя мощно:

А если завтра не настанет  
И снег не стает с наших век?

Но Санта-Кроче<sup>4</sup>, как «Титаник»,  
Вплывает в двадцать первый век.

За ним—стихотворение «Фрязины», об итальянцах-зодчих в России:

По Москве гуляют фрязины,  
И хула им вслед слышна:

«Образины, безобразины,  
Целый день пьяней вина!»  
Расшугали девок хохотом,  
Возмущая местных люд.  
И не думают, а что потом,  
Наливают, сладко пьют...

А потом этих итальянцев, строителей Кремля, не отпускают обратно в их края—они крепостные искусства... Впрочем, в определённом смысле все мы «крепостные поэзии», её узники. Я как-то писал тебе: «Стихи—жуткая зараза. А в чём вирус—не понимаю»...

В прозе такого нет, можно написать роман и не писать двадцать лет. А стихи—тянет их писать, и страшно раскрыть себя, люди боятся своих тайн и наизнанку вывернутого подсознания... В своём роде, поэзия—разновидность даже не стриптиза, а эксгибиционизма, если быть честным. Поэтомы авторы уходят в «тематики»—гражданскую, скажем,—или в техническое совершенство стиха; всё это бессмысленный побег от сути, а суть, конечно, не в эксгибиционизме, а в том, чтобы воплотить себя «до дна» и тем самым «остаться после смерти». Не все верующие, много агностиков. «Кто его знает, есть ли душа?»—размышляют они. Но в совершенство стихотворения, в прекрасное веруют все. Ещё стихи—публичная форма исповеди; это очень, кстати, русское свойство, «достоевское»—выйти на площадь и каяться на коленях, и это часто суть русского стиха, пусть интимного, но стихи публикуют, и площадь всегда за окном комнаты, где стоит письменный стол. А «Пророк»—библейская традиция. Есть и античная—песни открытой лирической и песни гражданской, зовущей к доблести. Но античность, в ней основное—Фатум. И песня, идущая навстречу гибели и всё же поющая, античная «фишка». Откроем «Илиаду». Ахилл знает о гибели, но идёт на бой...

Все эти слои варятся в котлах культуры и, с добавлением особой «приправы восточных культур», сливаются из двух котлов в третий, при соблюдении пропорций,—общее «варево» и есть тот стих, что мы пишем. Написание стихотворения—сложнейший культурный поступок, учитывающий несметное число знаний, умений, эмоций, образов, образцов, интуиций,—и всё ради нескольких строк, которые позволят тебе жить относительно близким к твоей сути и после ухода... это комплекс максимального самосохранения, комплекс продолжения себя в детях-стихах—его зов покруче пенья сирен... ты идёшь и пишешь снова...

.....

4. Санта-Кроче—знаменитая церковь Святого Креста во Флоренции, где находятся кенотаф Данте, могилы с надгробными памятниками Микеланджело, Галилея, Макиавелли, Россини...



Или в «Туман. Катень»:

Польская честь, флорентийская месть,  
Страшно кричат самолёты в тумане.  
Что-то такое безбожное есть  
В этой земле, на которую тянет  
То ли вспахать, подломивши крыло,  
То ли припасть к потаённой могиле  
В проклятом месте, откуда несло  
Запахом боли, неправды и гнили...

«Воронки» всё мчат по улицам 1937-го — в памяти, в стихах. Страх перед властью — любой, бандитом — запредельным, безразличием к лежащему и, возможно, умирающему — полным. И всякий творец у нас всё ещё ненавиден особостью, порывом к иному: как пнуть его сильнее, чтобы прикусил язык? Заткнулся? на печи лежал?..

Я выписываю название стихотворения: «Ангел Мишенька». О чём оно? О страхе. Но особенном — страхе увидеть земли своей страны бессильными, раздробленными, враждующими, воздух — непригодным для дыхания, а пространства культуры — обезлюдившими. Серые небеса без надежды на Возрождение... Без веры в то, «Что может собственных Платонов / И быстрых разумом Невтонов / Российская земля рождать». Да, но кто этот ангел? Мы же о Флоренции...

Ангел Мишенька — Мишенька ангел — Микеланджело.

Ангел Мишенька родился в малом городке — золотушный, некрасивый, тихий, словномышь. Детство Миши проходило больше на реке: там, где пили, и любили, и «Шумел камыш» пели злыми голосами, полными тоски. Проплывали теплоходы, воя и звеня. Приезжала на маршрутках или на такси, словно инопланетяне, бывшая родня. Пили водку с кислым пивом, жарили шашлык... Батя был вина пьянее, в драку с ними лез. Ангел Мишенька боялся и, набравши книг, незаметно топал-шлёпал в недалёкий лес. Он читал о странных людях, временах, богах, слабым прутиком рисуя что-то на земле. Был он прост и гениален, весел и богат, и его миры роились в предзакатной мгле. Дома недоноска, психа — в мать и перемать, никакой он не работник... Видно, потому, чтобы вовсе не пытался что-то малевать, мамка-злыдня порешила сплавить в ПТУ. Здесь его немного били, заставляли пить. Огрызаться опасался, мягкий, словно шёлк. Он из мякиша пытался чудный мир лепить. Но, как видно, с облегченьем в армию ушёл.

Злой чечен заполз на берег, точный, как беда, и солдатика зарезал тихого во сне. Потому-то, понимаешь, больше никогда Микеланджело не будет в нашей стороне.

Хочется помолчать. Или заплакать. Или сжать зубы и пойти дальше и выше, тропой культуры, к вершинам человеческого совершенства. Я сказал немного «пафосно»? Наверное, в зале смешок... И всё же — «надо идти». Пусть ты один. Пусть даже тебе одному дано Господом. Иди! Возьми за руку своё одиночество и иди вслед своему дыханию.

И поэтому в стихотворении-реквиеме, плаче о миллионах погибших талантов, на войне ли, в лагерях ли, в плаче этом нет нытья, скулежа... Речь о трагедии, а значит, катарсисе.

Кто же несёт свечи по берегам уходящих во тьму рек? Такие поэты, как ты, художники, скульпторы, музыканты, актёры... Ребёнок, что лепит «чуждый мир» из мякиша, — он проголодался, но не ест, лепит. И они построят то, что не удалось нам. И поплачут, как же иначе, над ангелом Мишенькой.

## Sei

Я дал своим заметкам заголовок «Города и реки поэтического мира».

О реках времени сказано. Теперь о городах. Одно из стихотворений, не включённых в книгу, но очень важное, «мост к пониманию флорентийских стихотворений», такое:

*когда...*

когда на исходе мира всё становится серым  
сирым а точнее всего седым  
и то что могу я вспомнить кажется сором  
в городе который называет себя содом

никакие ангелы ни один ни двое не обманут время  
и даже втроём не удержат качающуюся ось  
они сидят вкруг чаши там на стене в раме  
и видят нас отчаявшихся насквозь

а четырёх ангелам уже дали команду по коням  
и старший до блеска начистил свой геликон  
однако же когда мы окончательно канем  
кто защитит землю если придёт великан  
пожиратель камней истребитель вод  
его звездолёт уже приготовил свои ножи  
но мы встанем ряд за рядом во имя того  
кто дал нам свободу воли и право на жизнь

Что же мы можем увидеть в этом стихотворении? Прежде всего «великана», рождённого перед потоком и связанного с городом Содом, городом — обобщённым символом худшего в современной цивилизации. Более чем логично, Ян. Первая цивилизация, по Библии, возникает как город Каина<sup>6</sup>, построенный им, она настолько греховна, что Господь решает уничтожить своё творение...

.....  
6. «И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох» (Быт. 4:17). Лейбгор, «Праздники Каина», роман (М., «Голдстеп», 1993).

А Содом, Гоморра—они «метастазы» первой, уничтоженной цивилизации, их следует выжечь.

..кто защитит землю если придёт великан  
пожиратель камней истребитель вод...

«Корневые» слова, они сделали необходимым разговор о стихотворении. «Камней»—городов, «вод»—времен. Речь идёт об истреблении всего мироздания в круге бешено вращающихся лопастей-ножей, превращении всего, что нам дорого, в пыль на мельнице уничтожения и аннигиляции. ..недаром так сильны в тексте мотивы Апокалипсиса. Финал стихотворения из позднего, немецкого Возрождения, это Гёте: «Лишь тот достоин...»—но ты сумел сказать по-своему, иначе, и важнейшее отличие мира Библии от «мира Мойр»—право на выбор—отражено.

Но дальше—о городах. Города—они влекут, но мы часто в них одиноки, будто и вокруг каждого из нас—«городская стена». Особенно во времена испытаний и переселений и в поздние наши годы, когда многие из близких нам ушли.

Я вчитываюсь в стихотворение «Роща чистилища», максимально существенное, раз ты снабдил его эпиграфом из Данте. В «Роще...» звучат сходные с «когда...» мотивы. Привожу стихотворение:

*Тот дикий лес, дремучий и грозный,  
Чей давний ужас в памяти несёт!  
Так горек он, что смерть едва ль не слаще.  
Но, благо в нём обретиши навсегда,  
Скажу про всё, что видел в этой чаще.*

Данте

В городах, покрытых мраком, в улицах, текущих мёдом, Можно выть одним собакам, можно плыть одним уродам. Между Сциллой и Харибдой опрокинутые лица: То ли вглубь холодной рыбой, то ли ввысь горячей птицей. Но засохших веток лапы крепко держат нас за руки. На столбах побиты лампы, и слова свело от скуки. Тот, кто всё на свете тратит и кого мы разлюбили, Скажет мне: «Осёл ты, братец, что остался в этой гнили!» Всё сложнее или проще, как на части я разобрал— Пепел выгоревшей рощи изнутри мне бьёт по рёбрам. Эта каменная пытка стала непреложным фактом, И ослиное копыто узаконено асфальтом. Что поделат, всё нелепо. Так записано и вышло... Опрокинутое небо навсегда легло на крыши. Город медный дышит мерно, птиц остывших ветер сушит. Роща вырастет, наверно. Там, где будут наши души.

Здесь, конечно же, сразу замечаешь те мысли, о которых мы уже говорили: «То ли вглубь холодной рыбой, то ли ввысь горячей птицей». Но я бы, с твоего разрешения, остановился на одном слове—«опрокинуть», оно встречается у тебя не раз. Имеет много смыслов, в частности «ниспровергнуть» или «лишить власти», но первое значение—«перевернуть».

Ты пишешь о городе и говоришь: «Между Сциллой и Харибдой опрокинутые лица...»—а также: «Опрокинутое небо навсегда легло на крыши». В первом случае выбор между «плохо» и «очень плохо» лишает человека лица, он «безликая игрушка городской стихии зла», во втором—небо перевёрнуто и придавило город. Последнее обстоятельство можно трактовать как наказание со стороны Небес. В любом случае мы ощущаем «попусту пролитое время», пустую чашу синюю и взгляд «устремлённый в противоположную от звёзд сторону»—к асфальту. А иногда бывает и так, что из негодного настоящего мы всматриваемся в «приукрашенное прошлое».

В этом прошлом была «роща», воспоминание о «цветущей юности», но теперь всюду камень... «Вишнёвые сады вырублены»... И в завершение—довольно грустный прогноз: «Роща вырастет, наверно. Там, где будут наши души». Но мы не можем забыть: речь идёт о чистилище. И, согласно Данте, эта роща не что иное, как «земной рай» на вершине горы (а чистилище по Данте—гора), на другой стороне Земли...

И всё же основное здесь—верность своему городу, невозможность для тебя лично, Ян, отбытия в «земной рай цивилизованного мира», решение, за которое ты можешь ругать самого себя, но сомнение—одно, а реальный выбор—другое... Скажешь себе: «Осёл ты, братец, что остался в этой гнили!»—и добавишь тихо:

Всё сложнее или проще, как на части я разобрал—  
Пепел выгоревшей рощи изнутри мне бьёт по рёбрам.

Цитата из «Тили Уленшпигеля»: «Пепел Клааса стучит в моё сердце». Невозможность оставить могилы и неумение покинуть свой города. А их у тебя ничуть не меньше, чем рек. В собственной твоей Тоскане. Раю земном, воспоминанием о котором очищается душа.

И Телави—«тосканский городок», с подвальчиком на Руставели («Автобусом в Телави»):

Дато был сед, а Важа—юн.  
И шашлыки нам нёс Левани,  
Мераб с Нодаром наливали  
И выпевали каждый гост!  
Алаверды от Амирани—  
Мы пели, словно умирали.  
Шота был строен, Цотне—толст.

Песня имён. Чем они хуже флорентийских?

И Якиманка в Москве. И Кривоколенный переулоч—так недалеко от тех мест, где жил я... Твоё стихотворение о трагически погибшем друге: «Потеря смысла и тоска. / Я не был рядом в то мгновенье, / Когда он срезал эту нить. / Не смог ни словом я, ни тенью / Тогда его остановить...»

Детский твой отдых, Сестрорецк:

Где меня жидом пархатым обзывала шелупня,  
Где лупил я их, ребята, а потом они—меня...

Петербург, и город Башмачкин, и целая планета  
Снегирь... Улицы в твоих городах, дома, квартиры,  
где жили близкие тебе люди, и города дальние, как  
тот, где живёт твой брат.

Его поджидают судьба и хамсин,  
Пути и потери.  
Что делать, так вышло, он Божий хасид,  
И ноша по вере.

А я, стихотворец, вовеки неправ  
И верю не слишком...  
Печаль моя, свет мой, возлюбленный рав,  
Мой младший братишка.

И, конечно же, Коктебель, где живёт Владимир  
Алейников, который написал предисловие к твоей  
книге «Тоскана на Нерли». В нём есть и такие слова:

«Ян Бруштейн—замечательный русский поэт.  
Настоящий. Такой, которому сразу же веришь.  
Поразителен и уникален синтез, присутствующий  
в его стихах, вобравших в себя всё, от самых  
высоких тонов до тех будничных слов, о которых  
Анненский говорил, что они—самые сильные».

Что же, заслуженно, Ян. Книга «Тоскана на  
Нерли» состоялась безусловно. Что до меня, то,  
заканчивая это скромное эссе, отчего-то я долго  
разглядывал на мониторе рукопись Леонардо да  
Винчи. Я приблизил её, увеличив масштаб, и вдруг  
вспомнил о «зеркальном почерке Леонардо». Он  
шёл далеко в прошлое, чтобы шагнуть далеко  
вперёд. И почерк его отражался в воде времён...

На волне «почерка Леонардо»<sup>7</sup>, обратной, зер-  
кальной, можно достичь Флоренции, прогуляться  
по средневековью и выйти вновь на берега Нерли.  
Двое, помнишь, увязались за тобой—мальчик и  
собака. Мальчишка проживёт свою жизнь. А со-  
бака? Она тебе напомнила твою? Может быть,  
это она и есть.

.....

7. Зеркальный почерк Леонардо—левосторонний, Леонардо да Винчи писал свои записки именно так.